

Константин Федин

Старик

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
К65

К65 **Константин Федин**
Старик / Константин Федин – М.: Книга по Требованию, 2017. – 60 с.

ISBN 978-5-458-41715-0

«Старик» (1929 г.) – может быть лучшая Фединская повесть...» С. Боровиков «Знамя» 2008, №6 «Федину попались интересные материалы из воспоминаний Чернышевского и его наброски. Это натолкнуло на мысль написать повесть о временах старого Саратова. В 1930 году такая повесть под названием «Старик» увидела свет». И. Яковлев «Константин Федин — человек и теплоход» «В раннем детстве моем иногда слышал я разговоры о старине, и из небытия, из совершенной пустоты, из какого-то темного, зияющего «ничто» возникало настоящее. Как происходило это?»

Из предисловия автора.

ISBN 978-5-458-41715-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2017

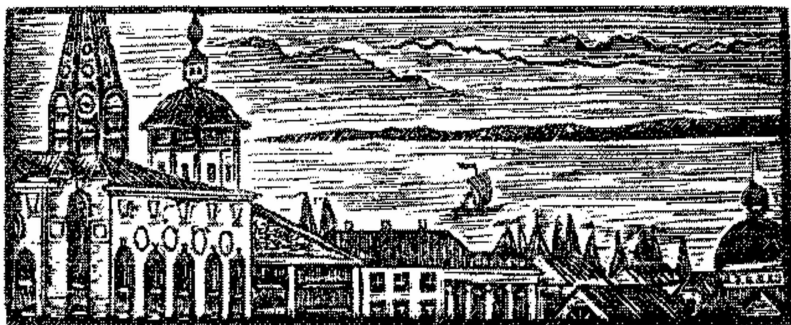
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2017

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Предисловие

В раннем детстве моем иногда слышал я разговоры о старине, и из небытия, из совершенной пустоты, из какого-то темного, зияющего «ничто» возникало настоящее. Как происходило это?

Часто речь велась о старом Саратове — городе, которого давно не было и который странно жил где-то тут же, бок-о-бок с моей маленькой жизнью. Саратов — моя родина. Задолго до моего рождения город начал расти, уходить в сторону от того места, где когда-то закладывалась его судьба. Но старые стены все еще сохранялись, улицы носили прежние названия, и вдруг, с неожиданной ясностью, почти до испуга осязаемо, я прикасался к прошлому. Мое воображение было так же велико, как мал был мой возраст, и я населял заброшенные улицы жизнью, которой не видали никогда даже мои деды. Так, настоящая жизнь включала в себя это прошлое с той же силой действительности, с какой для меня — семилетнего мальчугана — действительны были дворовые игры, или мой утренний завтрак — молоко пополам с горячей водой, кусок сахара и саратовский белый калач.

Это — начальное основание рассказа...

Возможно, что одним из первых писателей, имя которого я узнал в детстве, был Николай Гаврилович Чернышевский. Мой отец немного знал его лично, имя его изредка поминалось у нас дома, когда — в прекраснотушии — отец рассказывал, «на какой бумаге любил писать Чернышевский, когда переводил сочинение немца Вебера». Наверное с тех пор я привык останавливаться на судьбе этого писателя.

Меня поразило недавно, что Чернышевского в детстве страшно тянуло посмотреть таинственный дом купца Корнилова — на углу Московской и Большой Сергиевской. В одном рассказе он писал: «Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная, тоже железная, кровля была красная».

Слова эти наполнены ужасом.

Угол дома, действительно, был закруглен и поднят куполом!

И как же не знать мне этого дома (в мое время — братьев Шмидтов), если я пугался не только пройти мимо него, но даже представить себе его подвальные окна, забранные кованым железом?

Этот дом на самом деле страшен. На протяжении века он излучает своими окнами, своим закругленным углом непонятное представление о таинственном.

И не реален ли был мир моего воображения, 'когда я вызывал к жизни старый, прадедовский Саратов — вот на этих улицах, около этих стен — и когда улицы и стены десятилетия назад и в пору моего детства жили одною неизменявшеюся жизнью?

В автобиографии, написанной в Алексеевском равелине, Чернышевский много уделил воспоминаниям о старом Саратове, и Самсон Иванович Быстров составил целый очерк о топографии города по свидетельствам писателя.

Наконец, случайно, я узнал торопливый набросок Чернышевского под названием «Покража».

История, описанная в наброске, произошла в Саратове, и сюжет ее я кладу вторым основанием моего рассказа...

И вот — последнее основание, третье: член общества «Арзамас» Филипп Филиппович Вигель, автор хорошо известных «Записок», говорит в них об Алексее Давидовиче Панчулидзе. Имя это было так многославно в нашем городе, что даже до меня долетели обрывки чудесных, почти невообразимых легенд о былом саратовском губернаторе.

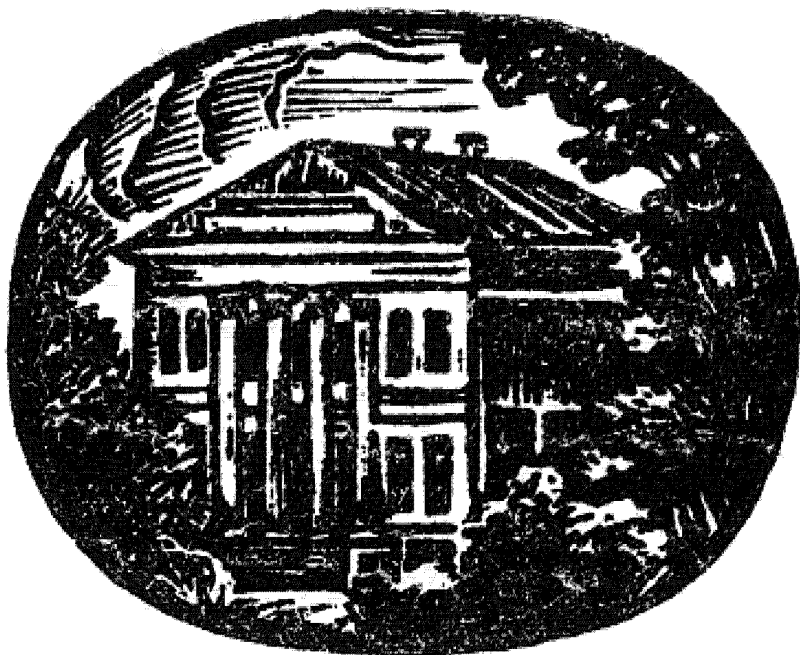
Остатки дряхлых рощ окружали уже не губернаторские дачи, а женский институт, но беспокоящее очарование парка, видно, и в мое время было столь же велико, как в детские годы Чернышевского, который пристально и восхищенно

вспоминает исчезнувший памятник. Я всегда готов был много дать, чтобы лишний раз побывать в заброшенной губернаторской роще. И я бывал в ней, и я ловил в ней птиц со своим приятелем — таким же бездельником, как я...

И я не знаю точно, — где тут действительность, где книги, не спутались ли воспоминанья моего отца с живым днем настоящего, и нет ли во всей истории чего-нибудь из рассказов протопопа Сергиевской города Саратова церкви отца Гаврилы Чернышевского, иль — может быть — арзамасца Филиппа Филипповича Вигеля?

Но единое во многом и многое в едином.

На этом — конец, вероятно излишнего, предисловия и начало повести, которая могла быть рассказана лет девяносто назад.





Первая глава

На бульваре, на главной просторной аллее сидел в трехколесном кресле старик. Кресло было поставлено под лигу так, чтобы тень защищала голову старика, а ноги его, покрытые одеялом, грело солнце. Старик дремал.

Молодой парень, одетый под господского казачка — в плисовых шароварах и безрукавке, в голубой сатиновой рубашке, — сидел неподалеку на садовой скамейке. Изредка он подходил к креслу и подкатывал его поглубже в тень, когда солнечный свет заползал слишком высоко на грудь старика.

Прохожих было мало, кое-кто из них кланялся старику, но он не отвечал. Понемногу — от неподвижности зноя и однотонного чириканья воробьев — дремота одолела и парня.

Прошло с полчаса. Солнце добралось до головы старика, припекло его, он очнулся, повел вокруг себя прозрачно-водянистыми глазками и вдруг насторожился.

По аллее двигалась к нему молодая модница в розовой пене оборок, — под кружевным зонтиком, с беленьким шпием на шнурочке. Шпиц шел вприпрыжку, подбирая и словно отряхивая лапки, пушистая шерстка на нем подрыгивала, и так же, как шерстка на шпие, с каждым шагом модницы подымались и падали розовые оборки ее платья.

Шпиц подбежал к креслу, понюхал одеяло, но шнурочек тут же отдернул собаку, и старик расслышал жеманно протянутые слова: — Ступай, Дэнди, ступай! Голос показался старику истомленным, ленивым, но таким уветливым, что захотелось прикрыть глаза, чтобы подольше удержать в памяти его музыку.

— Вася! — крикнул старик, — Василий!

Парень спросонок подскочил на скамейке и заученно откликнулся:

— Слушаю, Мирон Лукич!

— Вези! — быстро приказал старик.

— Куда, куда, дурак? — воскликнул он, едва парень начал поворачивать кресло. — Пошел назад. Шибче.

Но уже через минуту он опять приструнил Василия:

— Чего несет нелегкая? Легше!

Кресло катилось по бульвару следом за розовыми оборками, кружевным зонтиком, следом за шорохом шелков и нежным, приторным запахом помады.

Мирон Лукич смотрел на модницу. Он никогда прежде не встречал ее, он не видывал, чтобы барыня хаживала вот с этакой озабоченностью — ну, совсем так, будто нельзя потерять ни одной секунды, и — в то же время — словно и неторопливо, без всякой поспешности, так себе — прогуливает мадам своего песика на шнурочке, в этом и заключается вся приятная забота. Ни такой поступи — безыскусной и как- будто хорошо обдуманной, — ни такой руки с зонтиком, ни даже такого зонтика ни разу не попадалось Мирону Лукичу на бульваре, и он все тужился разглядеть получше лицо необычной барыни, и все никак не мог, потому что дурак Васька был сбит с панталыку и не знал, как нужно катить кресло.

— Легше! — шипел на него Мирон Лукич.

И опять, спустя недолго;

— Подгоняй, подгоняй! Заснул!

Наконец, перед самым выходом из бульвара, шпиц потянул куда-то в сторону, барыня приостановилась, откинула на плечо зонтик, кресло догнало ее, и тогда, на одно мгновение, Мирон Лукич увидел пронизанное солнцем маленькое ухо женщины, между двумя тонкими завитушками буклей, под шляпой. Оно просвечивало насквозь и было розовое, розовое, как оборки платья, как зонтик, и завитушки буклей горели мягкой, рыжизною, почти переходившей в розовое, теплое, солнечное.

— Поправей, вперед! — совсем тихо приказал Мирон Лукич.

Но было уже поздно: шпиц, отряхивая лапки, побегал в воротца, и хозяйка его покинула бульвар, даже не приметив старика в кресле.

Тут же, с улицы, к Мирону Лукичу подошел человек, похожий на приказчика, в парусиновой рубашке, с кисточками на концах пояса, снял картуз и почтительно улынулся:

— Как изволите здравствовать, Мирон Лукич?

— Не жалуюсь — резко ответил старик.

— Слава богу-с, — возразил приказчик и еще более почтительно справился:

— В каком нахождении ножки-с?

— Что проку в ногах? — прикрикнул старик, — я, чай, не плясунюм быть!

Он тряхнул головой Василию:

— Чего стал?

— Куды изволите?

— На кудыкины горы! Не знаешь, пора домой?

Он вынул из жилета большие — в кулак — серебряные часы, достал ключик и завел пружину. До самого дома он не проронил ни слова.

Кресло следовало обычным своим путем — по крутой Армянской улице, к Волге, вниз по взвозу, на Миллионную.

Миллионная скрипела телегами, оглоблями, деревянными шестеренками соляных мельниц, петлями и засовами лабазных ворот. Здесь гуляла прохлада, строения громоздились друг на друга, из ворот в ворота тянуло сквозняками,

сквозняки несли с собой тяжелый дух пакли, канатов, лежалой соли. Соль хрустела под ногами, под колесами телег, скрежетала и посвистывала в жерновах, и в соляном хрусте, в деревянных скрипах глухо охали человеческие голоса, понукавшие лошадей на мельницах.

Возчики, галахи, базарники дали Мирону Лукичу дорогу. Как всегда, Василий и мельничный работник внесли его в кресле с парадного крыльца в дом. Дом Мирона Лукича — Гуляевский дом — был полукаменный, с Миллионной улицы — приземистый, окнами близко к земле, со двора — высокий, в полтора этажа: улица обрывом падала на берег, к Волге.

По бокам дома, лицом на Миллионную, стояли «лабазы и мельницы, по двору к ним примыкали погребница, баня, амбары, кольцом охватывая гуляевские владенья. Построек было много, они теснили людей с возами, но теснота была привычной, издавней, и казалось — все было хорошо, удобно.

В этот час, после прогулки, Мирону Лукичу подавали обед. Он не ел мясного, по утрам ему приносилась рыба из садков, с Волги, он сам отбирал на обед подлещика, сазана, стерлядь.

Василий пододвинул кресло к столу, постелил салфетку на колени Мирона Лукича, но хозяин приказал:

— Накрой миску, чтобы не стыло!

Он отвернулся от стола, помолчал, потом вздохнул негромко:

— Ну, наливай!

И тут же, беспокойно зашевелившись, точно разыскивая что-то, окидывая глазами комнату, строго добавил:

— Подай зеркало.

Василий бросился шарить на комод.

— Подвинь к окну, — сказал Мирон Лукич.

Не спеша, он приблизил к лицу овальное зеркальце, и первое, что бросилось ему в глаза, были уши — большие желтые уши, с пучками сивых волос, вылезавшими из раковин. Мирон Лукич пощупал мясистые, покрытые пухом мочки, потер лицо ладонью, пригладил бороду.

— Часу в четвертом сбегай за цырульником, — сказал он, возвращая Василию зеркало.

Ел Мирон Лукич разборчиво, привередливо и скоро отодвинул тарелки. Василий закатил кресло в темный угол комнаты, за занавеску, подсунул под голову Мирона Лукича подушку, убрал посуду и аккуратно притворил за собою дверь.

Старик остался отдыхать. Но ему не спалось. Руки его — изжелта-красные, в трещинах, как гусиные лапки — были непокойны. Он постукал ногтями по плетеным подлокотникам кресла, выдернул из-под головы подушку, бросил ее на кровать и схватился за колокольчик.

— Зови, — коротко велел он Василию.

Жернова и колеса на мельницах поскрипывали однозвучно, привороженные к своим осям, не дальше от них и не ближе к ним, чем были минуту назад, час, месяц и год. Васька носился по двору, кликал:

— Пал Мироныч, Пал Мироныч, вас батюшка!

Потом прибежал в комнату старика, запыхавшись, выпаливал:

— Идут-с! — и становился у косяка.

Младший сын Мирона Лукича — Павел — являлся перед отцом.

Он вошел и на этот раз с привычным, затверженным вопросом о том, как отдыхал батюшка, готовый слушать приказания и давать отчет в дневной работе. Он стоял тяжелорукий, большой, спокойный, с упрямым взглядом таких же, как у старика, прозрачных, светлых глаз.

— Ну, что? — спросил отец и, не дожидаясь, отворачивая голову к окну, объявил: — с чего это нынче подводы стали дороги? Пошли-ка за Денисенкой, пусть придет.

Подводы были не дороже, чем всегда. Летом извоз только и зарабатывал, зимою цену сбивали деревенские. Павел начал было говорить об этом, но старик оборвал:

— А ты слушай: пошли сходить за ямщиком Денисенкой!

По сему и было.

Легко сказать: по сему было. На шестеренке обломился деревянный зубец — велико ли дело? А надо остановить мельницу, вывести из работы целый постав.

С тех пор, как Мирона Лукича паралич усадил в кресло, гуляевское хозяйство, а вокруг него и вся жизнь завертелись без перебоя. И вдруг какой-то зубец дал явную трещину. Мирон Лукич потерял послеобеденный сон, цырульник затребован был не в банный день, а посередине недели, и опять выплыл на божий свет давно забытый хромоногий Денисенко.

Хуже всего было то, что разговор с Денисенкой велся Мироном Лукичом при закрытых дверях, а вечером, когда Павел — по обычаю — сдал отцу ключи и на дворе спущены были собаки, через парадное крыльцо доставили Мирону Лукичу письмо.

Старик выслал из комнаты Василия, долго ждал, пока на дворе затихнет собачий лай, долго вслушивался в тишину и поглядывал на дверь, потом быстро гусиными своими лапками отодрал с письма сургучную печать и развернул бумагу.

Знакомыми, плохо увязанными буквами на бумаге нацарапано было без подписи:

Агрипина Авдеевна госпожа Шишкина из девиц на Московском взвозе в доме коллеж. ассе. Болдина наискосок семинарии понизже.

Мирон Лукич осветился улыбкой. Она была неподвижна, Мирон Лукич словно забыл о ней, от напряжения слезы блеснули на его веках. Потом он сунул письмо под себя и громко позвал:

— Васька!

И, когда появился Василий, Мирон Лукич поощряюще и убаженно сказал:

— Ах, пентюх!

Он осмотрел его с головы до ног.

— Растяпа! — проговорил он с удовольствием. — Рохля! Ну, что стал?

Мирон Лукич засмеялся.

— Ступай, болван, подай чаю. Да достань рому из этажерки. Да позови Павла Мироныча, спроси, может, он тоже хочет рому.

Он повторил:

— Пентюх!

И опять засмеялся.

